

К. Г. ПАУСТОВСКИЙ

---

ЗОЛОТАЯ  
РОЗА

# Константин Георгиевич Паустовский Секвойя

*OCR Busya*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=159430](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=159430)*

*К. Паустовский «Избранное»: Радянська школа; Киев; 1984*

# Константин Паустовский

## Секвойя

Дом отдыха стоял на бугре, заросшем густым мелким осинником и старыми елями. Под бугром в глубоком ОЕраге бормотала речушка Вертушип-ка. Назвали ее так, должно быть, за то, что она очень вертелась и петляла по оврагам. Куда бы ни выходили отдыхающие из дома, они всюду натыкались на эту позванивающую подо льдом речушку.

На изгибах, где течение было быстрее, Вертушинка промыла во льду черные полыньи. В них под вздрагивающей прозрачной водой было видно каменистое дно, а около тонкого края льда всегда собиралось и вертелось каруселью все, что несла зимой вода, – перегнившие черные листья, куски коры, мох, пух, растерянный в драках синицами, и семена.

Семян было больше всего. Особенно много несла Вертушинка семян ольхи – шершавых желтоватых шариков.

Андрей Иванович Дубов – лесовод и селекционер – попал в этот писательский дом отдыха случайно. Когда ему в его научном институте предложили путевку в этот дом, Дубов тотчас согласился. Ему давно хотелось пожить среди людей так называемой «свободной профессии».

Но потом Дубова начали одолевать сомнения. Все-таки среда незнакомая. Писатели, говорят, люди бывалые, интересные и разносторонние, но шумные и насмешливые.

Дубову – человеку только своего лесного дела – казалось, что он будет выглядеть среди писателей как житель тайги, попавший без всякой подготовки, в неуклюжих унтах и тулупе, на концерт в Большом зале Консерватории. Вокруг него будут спорить о книгах, стихах, о всяких сложностях писательской работы. Будут, конечно, ждать, что и он вмешается в эти разговоры. А как он может вмешаться, когда в литературе он мало что знает.

Поэтому первые дни в доме отдыха Дубов только приглядывался и помалкивал. Каждый день за обедом и ужином он выслушивал столько всяких историй, – то смешных, то печальных, то фантастических, столько острот и анекдотов и вдруг разгоравшихся, как лесной пожар, интересных и яростных споров, – что к вечеру у него разбаливалась голова.

Но он быстро привык к этим разговорам, вошел во вкус и уже через неделю с нетерпением ждал новых рассказов. Он уже не чувствовал себя чужаком.

Просыпался Дубов очень рано, еще в темноте.

Стоял конец декабря. Даже в полдень небо на горизонте над прозрачными перелесками и покрытыми снегом полями было затянуто темной мглой. Будто ночь только на короткое время – и то неохотно – отошла ч сторону и очень скоро вернется.

Дубов одевался и шел к Вертушинке. Ночь мутнела, воздух наливался слабой синевой. Потом эта синева переходила в мягкий серый цвет, напоминавший столетнее серебро.

Только черные ели тяжело стояли среди утренней мглы, как будто их выковали из позеленевшего чугуна кузнецы.

На берегу Вертушинки Дубов часто встречал девушку Настю, дочь одного из писателей, школьницу девятого класса.

Она отдыхала в доме после болезни, много ходила на лыжах и впервые зачитывалась «Войной и миром».

Отец ее весь день сидел в гостиной и играл в шахматы. Настя время от времени врывается в гостиную, кричала с отчаянием: «Папа, князя Андрея убили» – и убегала, чтобы через час опять ворваться и крикнуть, но уже радостно: «Папа, его, оказывается, не убили, а только ранили!»

Отец смеялся и махал на Настю рукой.

Настя, встречаясь с Дубовым, всегда улыбалась, и в ее открытой улыбке было столько чистейшей прелести девичества, свежести и еще неосознанного счастья, что Дубов всегда улыбался в ответ.

Какими-то еще неясными для него самого путями эта улыбка связывалась у Дубова со множеством хороших мыслей. Вернее, она вызывала эти мысли о счастливом значении его работы, о будущем, о том, что не так уж далеко весна.

Ее приближение было заметно по неожиданным теплым ветрам, доносившим из леса запах оттаявшей коры, по блеску капель, стекавших с ледяных сосулек (как будто сотни маленьких солнц косо летели по воздуху и исчезали в рыхлом снегу), наконец по свисту и перезвону синиц, дружно расклевывавших еловые шишки.

Настя почти всегда подходила к промоине на Вертушинке на лыжах.

Длинные ее косы были переброшены со спины на грудь, она глубоко дышала от лыжного бега, щеки у нее нежно рдели, а глаза под запушенными ресницами сверкали нестерпимо, будто в них за зеленоватым зрачком были зажжены маленькие звезды.

Каждый раз Настя находила под водой новые интересные вещи: то вымокшую в воде порыжевшую еловую ветку (она казалась заржавленной), то жестяную консервную банку, то лиловый от холода и мертвый лист водяной лилии. Один раз она даже увидела, как через промоину пронеслась длинная, как веретено, маленькая рыба, и почему-то решила, что это форель, хотя форели под Москвой не водятся.

О каждой вещи Настя спрашивала Дубова: почему листья лилии, когда вянут, делаются лиловыми, а еловая хвоя – рыжей, правда ли, что водяные жуки-водомеры зимой не умирают, а спят на дне под камнями, и могут ли прорасти те семена, что вертятся в водовороте на промоине. Вот хорошо бы действительно собрать их, посеять и посмотреть, что из этого выйдет. Может быть, вырастет целый сад из этих речных семян.

Дубов сначала отвечал Насте очень точно, научно, но по легкому разочарованию на ее лице, наконец, понял, что она ждет от него других ответов.

Очевидно, в связи со всеми этими подводными вещами

у Насти в голове уже роились всякие волшебные рассказы. Ей, должно быть, хотелось знать не только точное описание вещей и объяснение явлений, но и уловить ту трудно передаваемую прелесть, скрытую поэзию, что жила в этих палых листьях, тонком ледке, его звоне, в мохнатых комьях снега, остром воздухе осиновых чащ и во всем этом дремлющем зимнем дне.

Но передать ей эту непонятную власть зимы Дубов не мог. Он понимал, что Насте хочется сказки. «Это дело писателей, – говорил он себе, – придумывать сказки. Я, конечно, чувствую красоту зимы, но выразить ее не могу. Слов у меня не хватает. И, должно быть, воображения. Засох я на своей научной работе».

Однажды вечером один из писателей читал в гостиной свою только что написанную сказку.

Писатель был пожилой, в очках, страдал одышкой и очень ревниво следил за тем, чтобы во время чтения не было никакого шума.

После чтения начался разговор. Говорили сначала туго, потом оживились. Сказку хвалили, хотя кое-кто и говорил, что она несколько искусственна, что даже в сказках надо исходить из реальности, из подлинных и интересных жизненных случаев и явлений.

Писатель молчал, но с этим, видимо, не соглашался.

В сказке упоминались деревья-великаны. Может быть, поэтому писатель повернулся к Дубову и спросил:

– Ну, а вы что думаете? С точки зрения знатока природы и лесоведа?

– Что же я могу сказать, – ответил Дубов. – Мне нравится. Но дело в том, что на земле есть гораздо более сказочные деревья, чем те, которые вы описали.

– А ну, ну, давайте рассказывайте! – сказал молодой поэт и даже потер руки.

Очевидно, сказка ему не нравилась.

– Я не знаю, – неуверенно сказал Дубов. – Дело в том, что сказка должна быть, по-моему, фантастичнее.

– О каких деревьях вы все-таки говорите? – придиричиво спросил писатель-сказочник.

– Вот вы пишете, что ваши деревья были такие высокие, что за них цеплялись тучи, – сказал Дубов, почему-то сердясь. – Тут дело не в высоте деревьев, а в высоте облаков. Бывают такие низкие облака, что они цепляются даже за вершины сосен. А дерево, о котором я хотел вам рассказать, – это мамонтово дерево, секвойя. Исполинская сосна. Она вырастает в высоту на сто и больше метров. Толщина ствола у нее чудовищная, до шести-семи метров. Самое долговечное дерево на земле. В Калифорнии есть секвойи, прожившие три тысячи лет. Уже при Гомере они были большими деревьями, а при Колумбе – великанами.

– А ну, ну, давайте, давайте, – снова сказал поэт, но теперь уже без всякого злорадства.

– Так вот... Дело в том, что это замечательное дерево мо-



жет хорошо расти и у нас в Советском Союзе. В Крыму, в Никитском саду, есть несколько молодых секвой. Молодые, а в общем гиганты порядочные. Вдвое выше самой высокой сосны.

– Почему же вы не сажаете леса из секвой? – строго спросил Настин отец.

– В том-то и дело, – ответил Дубов, – что секвойя – дерево вырождающееся. Оно вымирает. Это – остаток прошлого. Секвойя в Америке уже потеряла способность размножаться. Те деревья, которые там есть, – последние. Новых не будет.

– Какая жаль для нас, для всей Руси! – сказал известный сатирический поэт.

– Вы не могли бы придумать чего-нибудь поостроумнее? – с ледяной вежливостью спросил его лирический поэт.

– Тише вы! – прикрикнул на них Настин отец. – Не мешайте!

– Да... Так вот, дело в том, – сказал Дубов и смутился. Он поймал себя на том, что уже в третий или четвертый раз повторяет это беспомощное выражение «дело в том». – Дело в том, что как раз мне пришлось несколько лет работать, чтобы получить у секвойи всхожие семена. Теперь вот я отдыхаю среди вас самым законным образом потому, что успешно закончил эту работу. Под Москвой уже заложены первые участки секвойи. Правда, они еще невысокие. Но через...

– Семь тысяч лет, – подсказал сатирический поэт.

– Знаете что, не будьте пошляком! – снова сердито сказал ему лирический поэт, но сатирик нисколько не обиделся.

– Ну, не через семь тысяч лет, а гораздо раньше у нас будут совершенно сказочные по красоте и мощи леса из секвойи. Не забывайте, что мы работаем еще и над ускорением роста деревьев.

Все замолчали, как бы обдумывая рассказ Дубова.

– Вот это и есть настоящая сказка! – вдруг сказала Настя.

Она сидела в углу за роялем, и до этого возгласа никто ее не замечал.

Тогда автор сказки совершил героический и правильный, по мнению Насти, поступок. Он встал, на глазах у всех торжественно разорвал свою рукопись и бросил ее в горящий камин. После этого он подошел к Дубову, крепко пожал ему руку и вышел из гостиной так спокойно, будто ничего не случилось. И все почему-то подумали, что вот теперь он напишет, наверное, настоящую, волшебную, светящуюся, как звезды в зимнюю ночь, и интересную сказку.

Дубов был смущен. Ему было жаль автора сказки и стыдно, что из-за его рассказа пропал писательский труд.

Вечером Дубов пошел к Вертушинке. По дороге его догнала Настя. Начал падать снег, совершенно тихий, отвесный, крупный и как будто что-то припоминающий на лету.

– Вы любите такой снег, Андрей Иванович? – спросила Настя.

– Да, – ответил Дубов. – Но больше всего я люблю моло-

дось, такую, как ваша.

– А я больше всего люблю Лермонтова, – неожиданно сказала Настя, сообразила, что сказала, должно быть, совсем не то, что надо говорить в таких случаях, и смутилась так сильно, что на глазах у нее выступили слезы.

Сквозь эти слезы снег представлялся ей действительно сказочным. Ей даже казалось, что из каждого пушистого снежного кристалла расцветают на лету один за другим маленькие, совершенно белые и тающие от ее дыхания цветы, похожие на розы.